

ISSN 0731-6222



8

1990

ever

Эйно КАРХУ

Эйно Генрихович КАРХУ родился в 1923 году в Ленинградской области. Доктор филологических наук. Автор девяти книг и многочисленных статей по истории финской литературы, финско-русским литературным связям, литературе Советской Карелии. Член Союза писателей СССР. Лауреат Государственной премии КАССР. Живет в Петрозаводске.



ИНГЕРМАНЛАНДИЯ И ИНГЕРМАНЛАНДЦЫ

(Опыт краткого историко-культурного описания)

1

В начале эта статья задумывалась как фольклористическая, если не исключительно, то по преимуществу, с главной целью рассмотреть некоторые черты региональной специфики устнопоэтических традиций Ингерманландии. По общему признанию, традиции эти богаты и занимают важное место в фольклорном наследии прибалтийско-финских народностей. Наряду с Карелией и Эстонией Ингерманландия входит в число основных фольклорных регионов.

Вышеуказанная фольклористическая цель по-прежнему остается в силе, но в процессе работы над данной статьей в нее все настойчивее стала вторгаться история, и в конце концов пришлось уступить ей. Пока могу лишь заверить, что предлагаемый краткий обзор истории Ингерманландии подчинен задаче последующего рассмотрения фольклористических и этнокультурных проблем, но заняться непосредственно этими проблемами придется из-за недостатка журнальной площади как-нибудь в следующий раз, в другой статье.

Может возникнуть вопрос: зачем для понимания фольклора так уж необходима история, особенно если собственно исторических сюжетов в фольклоре данного народа совсем немного?

Однако фольклор во всей его целостности — категория историческая и социальная. На протяжении столетий фольклорные традиции складывались, эволюционировали и видоизменялись в определенной социально-этнической среде и в зависимости от происходивших в ней изменений. И хотя генетически, с точки зрения происхождения древнейших мотивов и сюжетов, фольклор Ингерманландии имеет много общего с фольклором родственных народов, но региональная его специфика, региональная модель адаптации общего зависят от «региональной истории», которую фольклористу крайне необходимо знать, по возможности именно с фольклористической точки зрения. Западные этнологи, культурные антро-

пологи, фольклористы уже в течение полувека говорят о «региональной вариативности» культурных традиций, о их внешней и внутренней (морфологической и функциональной) адаптации, о локально-территориальных культурных «экотипах» и «доминантах». По этому предмету имеется весьма информативная статья финского профессора Лаури Хонко¹, к которой есть смысл еще вернуться в дальнейшем.

Но разве не ясно: чтобы судить о социально-культурной «экологии», причем и по территориально-географической горизонтали, в синхронии, и по диахронической вертикали, необходимо знать для этого историю.

История интересна и сама по себе. К сожалению, нашему массовому читателю история Ингерманландии практически неизвестна, и это же относится к самим ингерманландцам — как к людям старшего поколения, так и к молодым. Все успели вырасти в неведение, и догадаться о причинах такого положения нетрудно; ведь в последнее время в нашей печати немало пишется о преступной политике, настоящем геноциде по отношению к целым народам и народностям в сталинскую эпоху. Впрочем, по истории Ингерманландии у нас пока почти ничего не написано, наверное, профессиональные историки еще не успели. Ни на финском, ни на русском языках почитать на эту тему практически нечего, нет не только специальных работ, но и самых элементарных. Такой «итог» не случаен, он возник не вдруг и не сам собой.

Между тем у нас уже есть читатели, которые хотят знать об Ингерманландии, о ее этнической и культурной истории как можно больше. Вполне естественное желание, особенно для самих ингерманландцев, — ведь это их родина, земля предков. В связи с отменой прежних запретов люди с нетерпением обращаются в последнее время — публично в печати, в частных письмах

¹ Honko L. Perintein sopeutumisesta. — Sananjalka 21, Turku, 1979, s. 57—76.

и беседах — к потенциальным авторам со справедливой претензией: почему и теперь, когда стало вроде бы возможным писать, они, авторы, писать не спешат — разве это не их профессиональный и моральный долг?

Потенциальных авторов, к сожалению, немного, почти каждый из них до сих пор занимался чем-то другим; цеховая замкнутость — преграда весьма цепкая, и задача с переключением на ингерманландскую проблематику не из самых легких. Собственный опыт подсказывает это. Как ни прискорбно и даже постыдно, но должен признаться, что, сам по рождению ингерманлонец, я за всю мою уже некороткую жизнь никогда до сих пор по-настоящему не углублялся в историю своего рода-племени. Видимо, сами обстоятельства жизни очень уж мало этому благоприятствовали, как и у тысяч мне подобных людей. Были периоды, когда не то что углубляться — напротив хотелось про все забыть, кто ты и откуда, и не терзать себя тщетными мыслями. Но и забыть не позволялось — хотя бы уже особыми отметками в паспорте и строгими анкетными правилами. Когда тебе чуть ли не с первого класса приходилось, как заведенному, из года в год, на протяжении всей твоей жизни, без конца повторять в автобиографиях со смешанным чувством вины и унижения: «родился в семье финнов, родителей вывезли туда-то...», — уверяю вас, это действует на социальное самочувствие, а иногда вконец подламывает, сокрушает волю и притупляет разум. Несчастный «запропагандированный» подросток с максималистской возрастной психологией мог и отца родного возненавидеть, и хорошо, если позднее наступал черед сыновнего покаяния. Теперь мы знаем, что такое случалось даже с людьми выдающимися и высокоинтеллектуальными.

В результате многократных депортаций, жертвой которых стало и население Ингерманландии, после закрытия школ на родном языке, газет, культурных учреждений, певческих праздников, лютеранских церквей в памяти целых поколений образовался вакуум, глубокий провал, чему способствовала вся атмосфера вокруг. Разве это не трагедия, когда народность, уже вступившая на путь формирования национального самосознания, затем вдруг насильственно лишается права на национальное развитие, обрекается на положение изгоев, без родины, без прошлого, без элементарного исторического просвещения? И когда представителям этой народности, тысячам людей, даже знания о себе, крайне необходимые для преемственности национальной жизни, совершенно неоткуда почерпнуть? Дело дошло до того, что само название Ингерманландии и сведения о ее финском населении устранились из исторической и справочной литературы. Например, во втором издании БСЭ (том 17, 1952 г., с. 349) можно прочесть об Ингерманландии в статье под названием «Ижорская земля». В ней вскользь упоминались воль и ижора, но ни слова не было о финском населении. Главный же акцент делался на том, что то «были старые русские земли», что территория «рано была заселена русскими» и что «подавляющая часть (95 процентов) населения состояла из русских». Даже если отвлечься от вопроса: в какую эпоху русские составляли 95 процентов населения Ингерманландии? — бо-

лее чем странное впечатление производит нарочитая односторонность статьи, ни в коей мере не передающей сложной спецификации этнической истории края.

Конечно, в 1952 году, когда вышел упомянутый том, еще не угас пыл достопамятной «борьбы с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом». Однако и позднее, в 1970-е годы, был случай, когда из подготовленного сборника ингерманландского фольклора (составитель Э. С. Киуру) на издательской стадии были исключены все исторические сведения об ингерманландцах.

Надеюсь, читатели понимают, что речь я веду вовсе не о каких-то «исконных» этнических приоритетах. Сегодняшним «коренным патриотам» нелишне напомнить, что абсолютной этно-территориальной «исконности» вообще не бывает, и не потому ли на нее притязают даже ценой умышленных исторических умолчаний? Если уж на то пошло, то одной из самых древних народностей, населявших Ингерманландию, были саамы — саамская топонимика прослеживается вплоть до окрестностей Ленинграда, что давно признано наукой. Но разве не столь же очевиден исторический факт, что Петербург возник на месте ингерманландских деревень? Или современный многомиллионный город так утомился текущей суетой, что ему уже совершенно безразлично, с чего он сам начался? Как и то, что в былые времена в самом Петербурге, не только в его сельских окрестностях, проживала значительная доля населения финско-ингерманландского и финляндского происхождения? По оценкам Макса Энгмана, финляндско-шведского автора специального исследования², охватывающего периоды с 1703 по 1917 г., эта доля доходила в Петербурге до пяти-семи процентов, а все прибалтийско-финское население в Петербургской губернии (включая три десятка сельских лютеранских приходо́в) составляло в 1917 году около 200 тысяч человек.

По-своему это засвидетельствовала тогда и русская литература. Прежде всего позволительно сослаться на пример Пушкина, чей интерес к истории и исторической памяти народа общеизвестен и чей национально-культурный и общегуманистический авторитет сегодня, как никогда, высок. Для очень многих уже одно его имя — неприкосновенная святыня, хотя и в весьма разных смыслах в разных слоях литературной общности. Что касается финнов, то они давно чтят Пушкина еще и потому, что он, гениальный русский поэт мирового значения, заметил их, финнов, в совокупности с русской жизнью, русской историей, особенно петровской эпохи. Еще в ранней пушкинской поэме «Руслан и Людмила» были образы волшебника Финна и красавицы Нанны — имя последней от финского «nainen» (женщина).

Между прочим, в молодости Финн был пастухом — эта деталь, возможно, идет не только от литературной «пасторальной» традиции, но и от жизни: во многих ингерманландских деревнях вокруг Петербурга пастухами были, как правило, финны из Финляндии. О колдовстве финнов тоже существовала литературная традиция, причем

² Engman M. St. Petersburg och Finland. Migration och Influence 1703—1917. Helsingfors, 1983.

имелись в виду даже не этнические финны, а саамы-лапландцы. В поэме «Медный всадник», в высшей степени зрелой и глубокой, Пушкин не только воспел гордую красоту «младшей столицы» России, но не забыл и о ее «чухонской» (как тогда выражались) предыстории; то и другое сопряжено в заостренном историческом и художественном контрасте. В сущности, на этой контрастности построено знаменитое «Вступление» к поэме. Вчитаемся снова в бессмертные строки, взглянемся в величественную фигуру Петра над пока еще не преобразенными невскими берегами.

На берегах пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный челн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел...

И думал он:

Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу...
...Прошло сто лет, и юный град,
Полночных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво;
Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхий невод, ныне там
По оживленным берегам
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся;
В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами;
Темно-зелеными садами
Ее покрылись острова.
И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царницей
Порфиноносная вдова.

Здесь все построено, право же, на броских, заостренных контрастах — исторических, государственно-политических, ландшафтно-визуальных. И упоминание об «убогом чухонце» входит в общую историческую картину. История являлась художественному взору Пушкина в своей протяженности, многоликости, в реальной плоти, от нее ничего нельзя было произвольно отсечь и утаить — ни прежних черных изб, ни последнего великолепия дворцов, ни державного могущества, ни мрачной судьбы несчастного Евгения. В самом сюжете поэмы образная контрастность перерастает в трагический конфликт между государственностью и личностью, абсолютистской властью и беззащитностью слабого индивида. А может, в части Евгения есть нечто и от участи племен, слишком слабых и робких перед суровой, поступью Историей? Во всяком

случае, эта пушкинская поэма давала думающим писателям богатую пищу для размышлений, причем размышлений самых современных и в самые трудные периоды нашей истории.

Попутно уместно напомнить, что несколько позже, в 1840-е годы, в финской газете К. А. Готлунда был переведен «физиологический очерк» (опять-таки термин эпохи) Владимира Даля под названием «Чухонцы в Петербурге». Автор включил его потом в один из томов собрания своих сочинений, вышедшего в 1880-е годы. То есть в ту пору «финская» и, в более узком смысле, «ингерманландская тема» была еще вполне живой и современной в русской литературе. Она воспринималась столь же естественно, как естественно было пить свежее молоко, которое приносила по утрам «охтенка» (это слово тоже встречается у Пушкина), иначе говоря, ингерманландская крестьянка.

Но со временем все переменялось: упрощено выражаясь, молоко продолжали пить, а о молочнице умалчивалось. Сегодня об Ингерманландии трудно писать во многом именно по причине «провала памяти», утраты даже имевшихся отечественных научно-литературных традиций в данной области. После того как само название «Ингерманландия» стало неким ненужным и странным реликтом, архаическим «пережитком» с затемненным и подозрительным смыслом, очень непросто снова сколько-нибудь основательно овладеть темой, почувствовать себя в ней уверенно и независимо. И не менее трудно тему вразумительно и концентрированно изложить, не увязнув в бесчисленных, каждый раз вроде бы необходимых и полезных экскурсах-отступлениях, комментариях, ссылках на какие-нибудь старые, в том числе русские, издания либо более современные, преимущественно финские. Возникает необходимость о стольких вещах напомнить, потому что они забыты нами «за ненадобностью».

Вообще-то, если покопаться в библиографиях и фундаментальных научных библиотеках с целью собрать вместе все полезное, обнаружится, что об Ингерманландии написано не так уж и мало; даже при желании всего вдруг не прочитаешь. Основательное знакомство с материалами требует языковой подготовки, знания, кроме русского и финского, также эстонского, шведского, немецкого языков. В России первой половины XIX века некоторые научные издания выходили еще на немецком и даже на шведском языках (исследования по Ингерманландии А. Гиппинга, А. Шёгрена, П. фон Кёппена, А. Шифнера). В данном случае это объясняется не только тогдашней академической традицией, но и немецким и финляндско-шведским происхождением упомянутых исследователей, трое из которых были действительными членами Петербургской Академии наук. Большое значение для изучения Ингерманландии, наряду с лингвистическими исследованиями А. Шёгрена³, имели этнографические работы П. фон Кёппена⁴ о ее

³ Одна из ранних его публикаций: Sjögren A. J. Ueber die finnische Bevölkerung des St. Peterburgischen Gouvernements und ueber den Ursprung des Namens Ingermanland. St. Petersburg, 1833.

⁴ Koeppen P. von. Erklärender Text zu der ethnographischen Karte des St. Peterburgischen Gouvernements. St. Petersburg, 1867; более ранняя немецкоязычная статья автора

народностях с подробными картами и пояснениями к ним, включая перечни селений по группам водских, ижорских, финских диалектов.

Изучение языков, фольклора, этнографии, истории народностей Ингерманландии традиционно входит в сферу финской науки начиная примерно со второй трети XIX века. К ингерманландской тематике причастны десятки крупных специалистов; издавались диалектологические словари, грамматики, фольклорные и этнографические материалы и исследования. Со временем к исследовательской работе подключились научно-культурные организации, созданные ингерманландской эмиграцией (они есть и в Швеции). В частности, стараниями одной из таких культурных организаций в 1969 году была издана «История ингерманландских финнов»⁵, послужившая для многих, в том числе и для меня, одним из компактных и насыщенных информацией путеводителей по истории Ингерманландии, тем более что там имеются также историко-культурные и фольклористические главы-обзоры.

Заметное место в изучении народностей Ингерманландии всегда занимала эстонская наука, начиная с Фр. Видеманна и включая затем многочисленные лингвистические и фольклористические исследования П. Аристе и его учеников, в особенности по води и ижоре. На территории Эстонии проживали частично и води, и финны-ингерманландцы, а в годы второй мировой войны⁶ и после нее там увеличилась ингерманландская эмиграция. Между прочим, едва ли не первыми в условиях гласности заговорили вслух о своей судьбе ингерманландцы Эстонии, и там же стал издаваться общингерманландский информационный журнал.

2

Под названием Ингерманландия (другие финско-шведско-латино-русские варианты: Инкери, Ингрия, Ингария, Ижера, Ижора, Ижорская земля) с определенного исторического момента стала подразумеваться населенная прибалтийско-финскими народностями — водью, ижорами, отчасти карелами, вепсами, финнами, эстонцами — территория по обоим берегам Невы, от устья до Ладоги, и по побережью восточной оконечности Финского залива, от Карельского перешейка до реки Нарвы. Примерные географические и этнические границы (с учетом их подвижности в результате многообразных миграционных и диффузно-ассимиляционных процессов) можно обозначить как раз по руслу рек: с Эстонией Ингерманландия граничила по Нарве (русское летописное название — Нарова), с Финляндией

на северо-западе — по реке Сестре, с русским населением на юго-западе — по Луге, и дальше граница проходила к востоку до реки Мги и Ильмень-озера. Площадь территории составляла, по современным подсчетам, около 15 тыс. кв. км, но, разумеется, и площадь, и этнический состав населения, и его численность исторически колебались. Статистических данных нет не только применительно к летописным временам, но и к XVI-XVIII векам, так что судить можно лишь косвенно. В середине XIX века по подсчетам П. фон Кёппена (он собирал сведения у приходских священников) в тогдашней Петербургской губернии проживало: води 5148 человек (в 26 деревнях, главным образом в юго-западной части, вокруг Ораниенбаума и Петергофа); ижоры — 15600 человек (в 210 деревнях, преимущественно в Петербургском уезде, практически вокруг столицы; в перечне селений упоминается, в частности, и Ропша); из 72323 финнов более половины, 43080 человек, относились к группе савакот (savakot), остальные к группе эурямейсет (äyrämpöiset). Их предки переселились в Ингерманландию главным образом в XVII веке, когда она была под властью Швеции, преимущественно из восточных финляндских провинций, из Саво и волости Аугрää — отсюда и этнонимы, сохранившиеся за потомками ранних мигрантов.

В дальнейшем быстрее и заметнее всего убывала численность води: по данным переписи 1926 года ее оставалось 705 человек, а к 1960-м годам родной язык помнили лишь два-три десятка старых людей. Напротив, численность ижоры во второй половине XIX века, несмотря на ассимиляцию (в основном с русским, но частично и с финским населением), временно возрастала: по переписи 1897 года ее было 21700 человек, даже еще в 1930-х годах около 20 тысяч, но затем спад был быстрый⁷.

Что касается финского населения Ингерманландии, то его численность увеличивалась как за счет естественного прироста, так и за счет более или менее постоянного притока новых мигрантов из Финляндии. До 1917 года, когда Финляндия еще входила в состав России на правах автономии, граница оставалась, при таможенных и некоторых других ограничениях, относительно открытой, переезды туда-обратно и поселение на постоянное местожительство не доставляли особых трудностей. В финско-ингерманландских деревнях всегда были финляндские финны из числа новых мигрантов, выделявшиеся своей речью и привычками на фоне оседлого населения. Они приезжали на заработки, занимались сапожным, портновским, плотничьим ремеслом, нанимались в пастухи. Местные крестьяне называли их «бурлаками» (то есть людьми странствующими); многие из них уезжали обратно в Финляндию, но многие оседали на новом месте, создавали семьи. Особенно усилилась миграция из Финляндии к рубежу XIX-XX веков, финны тогда уезжали в поисках работы и земли в США, Канаду, Австралию, а также в соседнюю Ингерманландию. Исследователи полагают, что в начале XX ве-

на эту тему вышла в 1849 году, а из его публикаций на русском языке укажем на статьи «Водь и Вотская пятна» (1851 г.), «Селения, обитаемые ижорами в С.-Петербургской губернии» (1854 г.) и том «Хронологический указатель материалов для истории инородцев Европейской России» (СПб., 1861).

⁵ Inkerin suomalaisten historia. Jyväskylä, 1969.

⁶ О том, что произошло с ингерманландцами, оказавшимися в войну в немецкой оккупации, затем в Эстонии и Финляндии, до репатриации в конце 1945 года, подробно повествуется в недавней книге финского автора: Tuuli E. Inkeriläisten vaellus. Helsinki, 1988. Этой же теме посвящена основательно документированная докторская диссертация другого финского исследователя: Nevalainen P. Inkeriläinen siirtoväki Suomessa 1940 luvulla. Helsinki, 1989.

⁷ В 30-е годы была попытка создать ижорский литературный язык (как и вепский, чуть позднее карельский), выпускались учебники для начальных ижорских школ, но вскоре после 1937 года энтузиазм угас.

ка в приграничных ингерманландских деревнях, например, в районе Токсова, до трети жителей составляли новые финляндские мигранты.

К сказанному следует добавить, что после отмены в 1861 году крепостного права в Ингерманландию увеличился приток эстонского населения, было основано даже два эстонских лютеранских прихода.

И, конечно, постоянно и неуклонно увеличивалось русское население Ингерманландии.

Все это не могло не отражаться на этнокультурных процессах, к которым следует подходить исторически. Отмечается, например, что этно-лингвистические различия между савакот и зурямейсет, существующие еще в первые десятилетия XIX века, затем постепенно нивелировались и почти совсем не осознавались на рубеже XIX-XX веков.

На исторических судьбах Ингерманландии, как и Карелии и Финляндии, трагически сказался тот факт, что в течение очень длительного времени — с XII до начала XIX века — они в качестве пограничных территорий оставались объектами непрекращавшегося русско-шведского военного соперничества на севере. За эти территории Швеция вела борьбу еще с Великим Новгородом, затем с Московским государством и Российской империей времен Петра I, Екатерины II, Александра I. Войны шли с переменным успехом для соперничавших государств, добивавшихся каких-то выгод для себя, но для населения пограничных территорий, оказывавшихся непосредственным театром кровавых событий, они означали только гибель и разорение. Проживавшие на этих территориях малые народности не выдерживали слишком часто повторявшихся опустошений и жестокого кровопролития, они переселялись в поисках спасения с места на место, в новую этническую среду, подчас только для того, чтобы ассимилироваться и раствориться в ней без остатка. Продолжительное зависимое и крайне трудное положение этих народностей приводило к их отставанию в развитии, а то и к медленному этническому вымиранию, как произошло с водью. Все это не могло не оказывать глубокого воздействия на этнокультурные, фольклорные, языковые процессы.

Сопутствовавшим следствием длительного зависимого, заторможенного развития упомянутых малых народностей является уже тот факт, что письменные сведения об их прошлом сохранились только косвенные, только в анналах соперничавших сторон, в русских и шведско-скандинавских источниках. Сами по себе это, разумеется, чрезвычайно ценные свидетельства, спасающие прошлое от полного забвения. И все же это письменные свидетельства соседей, сумевших развить свою культуру до степени письменности, тогда как у упомянутых малых народностей своя имманентная этническая память и преемственность могли выражаться только в форме устной, фольклорно-языковой традиции или же в относительной традиционности самого народного быта, всего материального и духовного уклада жизни. Впрочем, с этим тоже связан существенный исторический нюанс, уже более поздний: само изучение языков, фольклора, этнографии этих малых народностей Ингерманландии было начато не из-

нутри, а извне, не ими самими, а соседями — на этот раз финляндскими, русскими, эстонскими и другими европейскими исследователями, которые в первой половине XIX века открыли Ингерманландию для науки, постепенно ввели языки и культуру ее народностей в международную финноугристку. В самой же Ингерманландии первые ростки национального самосознания обнаруживаются только к концу XIX века, и примерно тогда же зарождается современное образование в рамках книжной культуры, появляется прослойка интеллигенции с тяготением к внутреннему этническому самопознанию.

Самые ранние письменные упоминания об Ингерманландии относятся к XII-XIII векам. До того, в X-XI веках (как, впрочем, и позднее) в русских летописях упоминалось о «чуди», а в скандинавских сагах — о «бьярмондах», живших где-то между Белым и Балтийским морями. Полулегендарный характер упоминаний давал исследователям повод для возможных гипотез; само местонахождение «Бьярмондии» (или «Биармии», или же «Заволочской чуди») остается по-прежнему загадкой для науки, хотя предлагалось множество вариантов и этно-территориальных координат. Под «чудью» понималось и древнее водское население на восточном побережье Чудского озера, и летописная весь, предки современных вепсов. Но скорее всего, летописное название «чудь» было с самого начала многосмысленным, имело множество значений — этнонимических и топонимических, в том числе значение обобщенное, относившееся к прибалтийско-финскому населению в целом. Как полагают филологи, слово «чудь» либо германского (готского), либо саамского происхождения; оно было известно и в Сибири, занесенное туда русскими переселенцами⁸.

О происхождении названия Ингерманландия существовало мнение (его высказал еще В. Н. Татищев, затем пытался обосновать А. Шёрген в упомянутой специальной работе), что оно связано с именем Ингергерд, дачи шведского купца Улофа (Olof Skötkonung) и супруги новгородского князя Ярослава (1019-1054), преподнесшего ей, согласно сагам, в свадебный дар удел земли, якобы и названный ее именем. В последующем, однако, возобладало другое мнение, согласно которому название края произошло от названия реки Ижора (Inkeri), южного притока Невы, по берегам которой обитало и племя, называвшееся ижорцами (inkeroiset, inkerikot); оно отпочковалось, как полагают, от карелов Карельского перешейка. Конечно, при этом остается еще вопрос, кто дал название самой реке Ижоре и что первичнее — топоним или этноним. Но это уже нечто вроде варианта «вечного вопроса» о курице и яйце.

Во всяком случае, с течением времени название реки и этноним одной из народностей постепенно распространились на всю территорию и прибалтийско-финское население Ингерманландии, чему способствовали государственно-административные обстоятельства. В XVII веке, когда территорией владела Швеция, была образована особая Ингерманландская губерния

⁸ См.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка, IV. Изд. 2-е. М., 1987, с. 378.

(вместе с Кегсгольмом), со своим гербом и управлением. Еще после того, как маршал Понтус Делагарди завоевал в 1581 году крепости Нарва, Копорье и Ямбург, шведский король Юхан прибавил к своим титулам титул «великого князя ингерманландского». В сохранившихся западных географических картах того времени Ингерманландия фигурировала уже как некая целостность, название стало обобщающе-определяющим, тогда как другие архаические этнонимы и топонимы выступали как нечто соподчиненное.

Тенденция перешла XVIII веку, когда после победоносной для России Северной войны кончилась эпоха шведского великодержавия и когда Ингерманландия стала российской губернией. На первых порах она так и называлась — Ингерманландская губерния, и теперь уже ее управитель Меншиков был удостоен в 1707 году титула «князя Ижорской земли». Любопытен краткий период необычайного административно-территориального расширения Ингерманландской губернии, включавшей и Новгород, и многие другие города и области. Сошлось на справку в энциклопедии Брокгауза и Ефрона (том 25-й, издание 1894 года), в которой говорится: по петровскому указу 1708 года в состав Ингерманландской губернии было включено «громадное пространство, частью соответствующее нынешним губерниям Эстляндской, Петербургской, Новгородской, Тверской, Псковской, Олонецкой и Ярославской». Длилось это, однако, недолго: быстро строилась новая русская столица, губернию стали в обиходе все чаще именовать Санкт-Петербургской, а окончательно новое название было утверждено официальной росписью губерний от 1719 года. Тем не менее примерно тогда же один из военных кораблей был поименован «Ингерманландией», и Ингерманландскими назывались пехотный и гусарский полки — в случае с гусарским полком название сохранилось до конца XIX века.

3

Теперь чуть подробнее о том, как образовалось собственно финское население на территории Ингерманландии и каким было в основных чертах его историческое бытие на протяжении более трех столетий, сначала под властью Швеции, затем — России.

В конце XVI века между Швецией и Московским государством вспыхнула очередная война, длившаяся с перерывами двадцать пять лет (1570-1595). Шведам удалось сначала захватить западные крепости, но по Тязвинскому мирному договору 1595 года они вновь перешли русским (за шведами осталась Нарва). В 1610 году разразилась новая война, Московское государство было ослаблено «смутой» и по Столбовскому миру 1617 года утратило всю Ингерманландию. Шведский король Густав-Адольф заявил в победных интонациях на заседании риксдага, что отныне безопасность государства обеспечивалась с трех сторон водными преградами — Балтикой, Ладогой и Чудским озером, а там, где граница с Россией проходила по суше, она ограждалась огромными ингерманландскими и карельскими болотами.

Историки, в том числе зарубежные, признают,

что Швеция обращалась с Ингерманландией как с завоеванной территорией, не спеша предоставлять ей политические права и уравнивать ее с прочими провинциями королевства. В самом риксдаге Ингерманландия вовсе не была представлена, но зато ее жителей не призывали в шведское войско. Сбор жатенных податей на первых порах был отдан на откуп наместникам.

Почти столетнее шведское владычество в Ингерманландии привело к весьма существенным изменениям этнического состава ее населения.

Войны разоряли и опустошали Ингерманландию, она почти обезлюдела, жители уходили на восток, в глубь русских земель. Многие деревни совершенно опустели, в ряде уездов заброшенными оказались более половины крестьянских усадеб. Уходу населения способствовали и жесткие меры шведских властей и церкви по искоренению православия, замены его лютеранством вопреки официальному соглашению с русской стороной касательно свободы вероисповедания. Реформированная лютеранская церковь, поощряемая королевской властью, которой она подчинялась, смогла увеличить к середине XVII века число своих приходов в Ингерманландии до 58 (для сравнения: в середине XIX века лютеранских приходов было 28), тогда как число православных приходов при шведах сокращалось.

Но чтобы закрепиться на завоеванной территории, необходимо было позаботиться об экономическом ее развитии, о пополнении ее оседлого населения; это диктовалось и интересами казны, требовались средства для укрепления крепостей и содержания гарнизонов. Нехватка трудоспособного населения в Ингерманландии была настолько острой, что король Густав-Адольф распорядился пригласить туда немецких помещиков, раздать им лучшие земли, но с условием привезти с собой из Германии рабочую силу. Попытка оказалась не совсем удачной, часть немцев вскоре вернулась домой — слишком тревожной была жизнь на новом месте. В Ингерманландию ссылались из шведской метрополии разного рода неугодные элементы, бунтовщики и нарушители законов. Например, из письма Густава-Адольфа от 1620 года следует, что уличенных в воровстве на Аландских островах приговаривали либо к смертной казни, либо — в порядке милости — к пожизненному поселению в Ингерманландии. Такая же кара полагалась за самовольную рубку дубовых рощ в шведских провинциях, в Ингерманландию ссылались шведские крестьяне, не согласные с королевскими указами.

Особенно во второй половине XVII века в Ингерманландию усилился приток земледельческого населения из соседней Финляндии. Там были свои неустроенные, безземельные люди, готовые искать счастья на новых местах. Это были бедняки, не обремененные собственностью и поэтому, как говорится, легкие на подъем — черта, надолго сохранявшаяся и у новых поколений переселенцев из Финляндии, вплоть до начала XX века. Этим они выделялись из финско-ингерманландского населения, успешнее уже обустроиться, стать оседлым, привыкнуть к установившемуся быту. Этих-то новых пришельцев оседло население и называло «бурлаками» (purflakka); в слово вкладывалось значение, близ-

кое к значению финского слова «jätkä», работника-сезонника, человека странствующего, живущего до поры до времени «вольной жизнью», без заботы о семье и доме. Новые мигранты и отношение к ним оседлого населения составляли особое пятно на общем фоне ингерманландского народного быта, и одновременно в этом выражалась продолжавшаяся связь местных людей с прежней, собственно-финской родиной, связь именно в непосредственном народно-бытовом варианте.

Уже к 1640 году финские переселенцы составляли около трети прибалтийско-финского населения Ингерманландии, а во второй половине столетия их приток усилился, и со временем доля финнов превысила долю воды и ижор. В 1695 году в Ингерманландии было всего около 60 тысяч жителей прибалтийско-финского происхождения, из них финских переселенцев до 45 тысяч⁹.

Вскоре в жизни этих людей наступили большие перемены: из подданных шведского короля они стали российскими подданными; изменившаяся государственная граница отделила их от прежней родины, от Финляндии. И хотя в 1809 году Финляндия была присоединена к России, но она продолжала жить по своим автономным законам, восходившим во многом к шведским временам, тогда как население Ингерманландии, включая финских переселенцев, стало жить по законам российским.

В первой четверти XVIII века победоносная для России Северная война положила конец шведскому великодержавию. Из прежних шведских территорий на балтийском побережье к России были присоединены Ингерманландия, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Курляндия.

Продолжительная война, разумеется, принесла населению Ингерманландии большое опустошение. К этому времени приурочивается народная поговорка: в деревнях все так вымерло, что даже петухи не поют.

Однако основание и стремительное развитие Петербурга, символизировавшего поворотный пункт русской истории, означало нечто кардинально новое и для окрестного ингерманландского населения. Прежний застойный уклад жизни, нарушаемый частыми войнами, стал меняться в условиях длительного мира под влиянием новых стабильных факторов — государственно-политических, общественно-экономических, культурно-языковых. Из отдаленной и экономически заброшенной шведской провинции Ингерманландия стала подстольной территорией, ее население — пригородным населением, вовлеченным непосредственно в новые процессы с их позитивными и негативными последствиями.

Не только хорошевшая «младшая столица», но и ее окрестности бурно строились, изменялся прежний лик ингерманландской земли. На месте десятков и сотен сносившихся деревень возникали иного рода селения — Царское Село, Красное Село, Стрельна, Гатчина, Петергоф, Ораниенбаум с их дворцами и замками, прудами и фонтанами. Строилось немало загородных дач для столичной знати, богатых помещичьих усадеб.

В новую эпоху отчасти изменились даже флора и фауна края. Появились огромные парки с неизвестными здесь прежде деревьями, кустарниками, цветами. Правда, в XVIII веке в лесах и пустошах Ингерманландии, по описаниям современников, еще водилось устрашающее множество волков, их голодные стаи губили крестьянский скот, даже осмеливались наведываться на городские окраины. Но в то же время в охотничьи угодья знати завозили благородную дичь, в прудах разводили форель, и вся эта живность распространялась также за пределы барских владений; крестьяне тайне пользовались ею, ловили фазанов, в речках попадалась «барская» рыба. Это длилось вплоть до начала XX века, об этом рассказывал мне в детстве мой отец (родившийся в 1878 году).

А очень старенькая бабушка по матери, захватившая более раннее время, любила рассказывать, как она еще девочкой (по моим теперешним подсчетам, чуть ли не в пору отмены крепостного права) видела красочные празднества, связанные с пребыванием гвардейских полков на летних лагерях, традиционным местом которых были Красное Село, Ропша, совсем близко от нас (между прочим, в роппинском дворце был в свое время убит Петр III). На удивление местным крестьянам прибывали во всем блеске гусарские и драгунские полки, на офицерские увеселения съезжалась петербургская знать, а то и члены царской семьи. Хоть раз в жизни краешком глаза деревенские ребятишки и взрослые могли увидеть великолепие мундиров, породистость коней и седоков, ажурную легкость колясок, роскошь дамских нарядов. После маневров молодые офицеры устраивали буйные увеселения, выдумывали после выпитого всякие затеи, дурачились, состязались друг с другом в отчаянной храбрости, прыгали через горящие костры и т. п. — обо всем этом рассказывала бабушка. Для крепостных крестьян приоткрывалась толика барской жизни, совершенно иной, чем их собственная. Скупые свидетельства приходских священников и других очевидцев: даже в середине XIX века ингерманландские крестьяне жили в курных избах — почти рядом с дворцами. По рассказам бабушки, еще в ее детстве в деревнях ели-пили из деревянной посуды, а стеклянная и металлическая пришла позднее. Крепостной крестьянин знал барскую розгу и пел в одной из своих песен: «Кто не успел в срок на баршину, тому ложиться под палочные удары, слушать свист рябиновых розг». А вот тема другой, широко распространенной народной песни: «Почему беден мой дом? Снесет курочка яичко — это госпоже на жаркое. Принесет кобыла жеребенка — это господину в упряжку. Родит жена сына — это в кучера господину. Родит жена дочку — это госпоже в служанки».

Хочу подчеркнуть: исторически ингерманландским крестьянам предстояло иметь дело именно с послепетровским вариантом сословного неравенства, резкого контраста между почти безумным богатством и роскошью аристократии, с одной стороны, и жестоким крепостным бытом — с другой. Уже в наши дни интересно наблюдать, как, например, финские историки реагируют на посещения богатейших дворцов русских царей и знати; восторги могут сочетаться с улыбка-

⁹ Tuuli E. Inkeriläisten vaellus, s. 15.

кой и шуткой: «Перед такой красотой финнам остается только сожалеть, что у нас не было крепостного права». В шутке намек: в Финляндии, да и в Скандинавии, подобная роскошь неизвестна, как неизвестно было и крепостничество в его развитых формах. Ингерманландские крестьяне познали на себе и крепостную зависимость, и последствия крупного помещичьего землевладения, и рекрутчину — все это отразилось в их песнях.

На ингерманландскую деревню в течение столетий распространялась русская традиция крестьянской общины, «мира». В деревнях были старосты, отвечавшие за общинные дела; община распоряжалась той землей, которая оставалась в индивидуальной обработке крестьян, но не являлась их личной собственностью. Этим ингерманландская деревня существенно отличалась от финляндской (и шведско-скандинавской) деревни с ее традиционным мелкокрестьянским землевладением. Сам внешний облик ингерманландской деревни — по скученности и типу домов, расположению хозяйственных построек — во многом напоминал соседние русские деревни (которые обычно были больше размером), и в этом также проявлялось, надо полагать, влияние не просто русского соседства, но и внедрения системы русского общинного землевладения.

Как известно, в истории самой России, включая XIX и начало XX века, к крестьянской общине наблюдалось весьма разное отношение со стороны представителей разных идейных течений, общественно-политических движений и партий. Была и идеализация общины, причем с совершенно различными акцентами, от консервативно-охранительных до леворадикальных; была и резкая критика связанных с общиной иллюзий. Бесспорно, однако, что с точки зрения экономического развития деревни и хозяйственных интересов крестьянина община стала к началу XX века преградой и тормозом.

В период столыпинской реформы (каковы бы ни были ее политические цели) более половины ингерманландских земледельцев высказалось за ее скорейшую реализацию, а к началу первой мировой войны, по предположительным данным, одна пятая часть успела получить землю в собственность¹⁰. В этот же период в Ингерманландии были основаны для крестьян первые торговые кооперативы и кооперативные ссудные кассы.

Близость Петербурга означала для ингерманландских крестьян прежде всего близость рынка и дополнительных промыслов. Они поставляли в столицу молоко и картофель, фураж, зимой ездили на своих лошадях в извоз, возили лес и другие строительные материалы, сырье для фабрик. Все это способствовало постепенному развитию рыночных отношений, изменявших деревенский быт. Зерна на продажу крестьяне не производили, а, напротив, сами прикупали его в городе, потому что земли было мало. Из города же привозились и многие другие продукты. Через рынок происходило взаимное общение финского и русского населения, в остальном же ингерманландские деревни жили в своем этническом микромире.

4

Для понимания эволюции народной жизни и культурных традиций коснусь еще вопросов школьного образования и печати в Ингерманландии.

Еще до возникновения школьной образовательной системы немаловажную роль в просвещении населения в Ингерманландии играла лютеранская церковь. В составе России за финнами-ингерманландцами было сохранено право на лютеранское вероисповедание (ижора и воль оставались православными). Существует мнение, и, видимо, справедливое, что лютеранской церкви в Ингерманландии и ее пасторам-миссионерам был свойствен дух чрезмерно сурового аскетизма. Но следует учитывать и другое: в течение длительного времени лютеранская церковь была единственным просветителем и цивилизатором своей паствы, распространяла в народе зачатки грамотности, основывала конфирмационные и воскресные школы, способствовала сохранению компактности финских приходов, выживанию финского языка и этническому выживанию. Без этой цивилизаторской деятельности лютеранской церкви непосредственно в народной среде и на народном языке трудно даже представить, как иначе мог бы финский язык сохраняться продолжительное время среди ингерманландского населения, в условиях интенсивных инонациональных влияний и политики русификации. Это понимали, надо сказать, и царские власти; не случайно одновременно с усилением к концу XIX века русификаторских тенденций в системе школьного образования более строгим стало отношение властей и к лютеранской церкви.

В языковом отношении лютеранская церковь в Ингерманландии ориентировалась на литературный финский язык, пользовалась изданными в Финляндии церковными книгами, а с появлением сети сельских библиотек (первоначально опять-таки при пасторатах) в народ стала проникать и светская финская книжность. В перспективе наличие у ингерманландцев заимствований литературной языковой основы было принципиально важным фактором, ибо отсутствие письменности, как известно, вовсе не способствует длительному этническому самосохранению малых народностей в условиях новой цивилизации.

Уже стародавняя лютеранская традиция церковной конфирмации предполагала знание юными прихожанами элементарной грамоты, умение читать церковные книги (без чего не венчали новобранцев). Постепенно грамота внедрялась в крестьянскую среду. Например, неизвестный автор рукописи начала XIX века, в которой описывалась народная жизнь в приходе Туутари (Дудергоф) примерно в течение предшествовавшего полувека, упоминал о крестьянах, которые сами обучали своих детей читать, то есть элементарная грамота проникала в крестьянский быт.

Лютеранские пасторы приезжали в Ингерманландию обычно из Финляндии в порядке миссионерства, а если они были ингерманландского происхождения, богословское образование они все равно получали в университетах Турку, Тарту, Усалы. Из сохранившихся университет-

¹⁰ Inkerin suomalaisten historia, s. 122.

ских матрикул известно, например, что во второй половине XVII века в Тарту обучалось до шестидесяти ингерманландских студентов, хотя не все из них, видимо, возвращались в родные места. Наиболее образованные священники со временем научились ценить народную культуру, не отвергать ее из-за элементов язычества. Напомню, что еще Матнас Саламниус, автор известной «мессиады» в фольклорно-эпическом стиле («Paulu Jesuxesta», 1690), был священником и, по некоторым предположениям, служил в Ингерманландии. Из наблюдений XIX века любопытно следующее: О. Гроундстрём, сын ингерманландского пастора, ставший директором учительской семинарии в Колпине и собиравший местный фольклор, отмечал в своих записках, что крестьяне из деревень вблизи пасторатов исполняли для него обычно только церковные песнопения, тогда как собственно народные руны следовало искать в более отдаленных селениях. То есть и в XIX веке лютеранство и собственно народные традиции были не вполне совместимы. Тем не менее образованные священники сами записывали фольклор и одновременно основывали в своих приходах школы для продвижения книжной культуры.

Еще в XVII веке в Ингерманландии возникли школы на латинском и шведском языках, в которых учились дети пасторов и чиновников. Первая финская школа в Ингерманландии основана в 1785 году близ Гатчины (в деревне Малое Колпино) по распоряжению наследника престола, будущего императора Павла I. В Гатчине находился его дворец, близости — имение с финскими деревнями; для крестьянских детей из этих деревень и была открыта школа. Позднее, в 1830-е годы, возникла школа в приходе Хиетаями (кстати, это моя родина); в следующем десятилетии основаны две финские школы в самом Петербурге (для мальчиков и для девочек); затем до середины века появилось еще с десяток школ в сельских приходах. Это были довольно примитивные, малооборудованные заведения с лавками, но без парт, без столов и почти без учебников, с одним-единственным учителем и преимущественно с церковно-религиозным направлением преподавания.

Толчком в развитии светского школьного образования стало возникновение учительской семинарии в Колпине в 1863 году, вскоре после отмены крепостного права. Впрочем, на первых порах семинария тоже сохраняла еще духовный уклон, готовила, наряду с учителями для школ, пономарей и церковных органов. Но все же семинаристам преподавались, кроме закона божия, финский и русский языки, арифметика, геометрия, естествознание, география, история.

Как известно, в последнее десятилетие XIX века царское правительство предприняло попытку ликвидировать автономию Финляндии и проводило политику принудительной русификации. Это отразилось и на школьном образовании в Ингерманландии, на ее пробуждавшейся национально-культурной жизни. Финские школы были выведены из подчинения лютеранской церкви и переданы министерству просвещения царского правительства. С одной стороны, это вроде бы должно было привести к ослаблению церковного влияния на школьное образование,

но с другой — языком преподавания всех предметов объявлялся только русский, а финский предписывалось преподавать желающим «внеклассно», вместо старославянского языка. Это вызвало, естественно, протесты, но либерализации школьной системы и отмене русификаторских ограничений помогла только первая русская революция 1905 года. Количество финских школ увеличилось, в 1913 году их было уже 229 с 8000 учащихся. Как видно из этих цифр, школы были небольшие, но более или менее общедоступные; всех деревенских детей они еще не охватывали, однако основа народного образования была заложена. Все они именно начальные (трехклассные) народные школы, дававшие элементарные знания. В таких школах учились многие ингерманландцы, в том числе мои родители (где-то в 1890-е годы), и могу засвидетельствовать, что эти люди, занятые с утра до вечера крестьянским трудом, могли прилично читать и писать.

Со временем в крестьянскую среду стала проникать финноязычная периодическая печать, которая зародилась в Ингерманландии в последней четверти XIX века. Намерения издавать в Петербурге для местного населения газету на финском языке возникли еще в 1840-е годы, но тогда, в условиях николаевского режима и в канун европейских революций, идея не могла быть реализована. Первая финноязычная газета в Ингерманландии («Pietarin sanomat» — «Петербургские известия») начала выходить в 1870 году. За пределами Финляндии это была вообще первая финноязычная газета (позднее, на рубеже веков, финноязычные газеты и книги стали издаваться в США и Канаде эмигрантскими рабочими организациями). Первая ингерманландская газета обещала служить идее национального просвещения. Она была очень скромной по объему, выходила раз в неделю небольшим тиражом (700 подписчиков, 300 экземпляров в розницу). В газете печатались местные и международные новости, освещались вопросы школьного образования, церковно-приходские дела. Редактором был Ю. А. Хагман, инспектор лютеранских воскресных школ, и хотя он сам имел отношение к церкви, тем не менее газета оказалась слишком либеральной духовным пастырям, которые уже в следующем, 1871 году основали свой более консервативный орган («Pietarin Sunnuntailehti» — «Петербургская воскресная газета»). Весной 1873 года газета Ю. А. Хагмана, отчасти по причине финансовых трудностей, прекратила существование. В 1870-е годы выходили еще две газеты, но и их существование было кратковременным.

Можно отметить характерную тенденцию: если на раннем этапе основная инициатива в издании газет принадлежала еще лютеранскому духовенству, то в дальнейшем на первый план выдвигаются местные интеллигенты (учителя). В 1884 году начала выходить газета «Инкери», просуществовавшая два десятилетия, до 1905 года. Симптоматичным было уже само название газеты: отныне Ингерманландия мыслилась как национальная целостность. В течение всех двадцати лет одним из редакторов газеты был Моосес Путро, учитель и музыкант, автор песни «Воспрянь, Инкери» («Nouse, Inkeri»),

которую стали исполнять на народных певческих праздниках как национально-патриотический гимн. С. Халтеонен¹¹ справедливо указывает что своего рода показателем новой ступени развития национального самосознания являлось и отношение к печати царской цензуры; она вычеркивала из верстки даже такие выражения, как «народ Инкери», «родной язык», не говоря уже о «рабочем вопросе», «стачках» и других аналогичных понятиях из общественно-политического лексикона эпохи.

С конца 1905 года выходила газета «Новая Инкери» («Uusi Inkeri»), которую стали печатать не в Петербурге, а в Выборге в надежде, что тамошняя цензура менее придирчива. Но уже в следующем году газета была запрещена за сочувственное отношение к выступлениям рабочих масс. Последней дореволюционной финноязычной газетой либерального направления в Ингерманландии была «Нева» (с 1906 по 1918 год). Ее издавала группа молодой интеллигенции, газета считалась отчасти даже социал-демократической, вплоть до Февральской революции 1917 года с нею сотрудничало социал-демократическое объединение финских рабочих в Петрограде (во главе с известными революционерами братьями Юккой и Эйно Рахья). Но в дальнейшем произошло размежевание, редакция «Невы» осталась на позициях буржуазно-демократического парламентаризма, тогда как леворадикальные социал-демократы солидаризировались с русскими большевиками.

После Октябрьской революции, в период гражданской войны в России, положение в Ингерманландии чрезвычайно осложнилось, она оказалась на перекрестке противоборствующих сил, внутренних и внешних, и сама была вовлечена в борьбу. Кроме всего прочего, напряженными оставались отношения между Советской Россией и только что получившими государственную независимость Финляндией и Эстонией. В обеих странах имелись круги с политическими расчетами и территориальными притязаниями на Ингерманландию, они стремились соответственно повлиять на национально-культурное движение в ней. С другой стороны, социально-экономические интересы ингерманландских крестьян были ущемлены политикой военного коммунизма (с комбедами и продразверсткой, принудительными реквизициями и трудовыми повинностями); в некоторых районах вспыхнули открытые волнения, а репрессивные меры властей имели своим следствием эмиграцию части населения в Финляндию и Эстонию; в эмиграции оказалась частично и немногочисленная еще интеллигентская прослойка. Не обошлось в эмигрантской среде без проявлений политического авантюризма, особенно в период наступления генерала Юденича на революционный Петроград (осенью 1919 года), когда к русским белогвардейским частям присоединились воинские формирования из ингерманландцев, преимущественно под командованием финских офицеров. Трезво мыслящие представители эмиграции сторонились авантюризма, полагая, что целью ингерманландцев должно было быть достижение территориального

самоуправления и национально-культурной автономии в составе России. Положение стабилизировалось после заключения Советской Россией мирных договоров — сначала с Эстонией в феврале 1920 года (образовалась так называемая «эстонская Ингерманландия», поскольку тринадцать ингерманландских деревень остались на территории Эстонии); затем с Финляндией в октябре того же года (Тартуский мирный договор). Финская сторона предлагала включить в текст договора особую статью об автономии для финского населения Ингерманландии, но советской стороной предложение не было принято. Однако при подписании договора советская сторона официально заверила, что финны-ингерманландцы будут пользоваться всеми правами, предоставляемыми в Советской России национальным меньшинствам, включая местное самоуправление и культурную автономию. Беженцам-эмигрантам при возвращении обещалась амнистия.

Хотя на практике до развитой культурной автономии и самоуправления дело никогда не дошло, кое-что в 1920-е годы все же было предпринято. В некоторых сельских Советах административным языком был финский. Выходила газета «Vapaus» («Свобода») и некоторые журналы, было создано книгоиздательство «Кирия», развивалась сеть школ и средних учебных заведений на финском языке (педагогические техникумы в Гатчине и Ленинграде, сельхозтехникум в Рябове); при Ленинградском педагогическом институте им. Герцена было открыто финское отделение, в Ленинграде же функционировал финский Дом просвещения. Много делалось с ориентацией и на Карелию, где тоже развивались образование и культура. Может показаться парадоксальным, но даже в Хибинах для детей из ссыльных ингерманландских семей была создана финноязычная школа-семилетка, причем с преподаванием полного цикла предметов на этом языке, в отличие от современных наших школ в Карельской национальной автономии, в которых и финский, и карельский языки преподаются только как предмет. Есть принципиальная разница в тогдашней и теперешней национальной ситуации: для десятков тысяч детей финский язык тогда оставался еще действительно родным языком, а нынешние наши национальные школы заняты скорее «игрой в национальное», разнovidностью излюбленной нами «показухи».

Когда выше говорилось об эмиграции из Ингерманландии, следует иметь в виду, что была и встречная эмиграция из Финляндии — в Петроград, в Ингерманландию, в Карелию. После поражения революции 1918 года в Финляндии к нам приехало около пяти тысяч «красных финнов», спасавшихся от белогвардейского террора у себя на родине. Часть из них пожелала участвовать в социальном переустройстве ингерманландской деревни, в культурно-просветительной работе. Они сделали немало полезного, хотя ими, как и местными активистами, нередко допускались левачьи «перегибы», поддерживавшиеся, как это теперь хорошо известно, всей тогдашней государственной политикой. Их ошибки дорого обошлись населению, а затем они и сами стали жертвами сталинского террора. По левачьим

¹¹ Inkerin suomalaisten historia, s. 231.

меркам каждый зажиточный, неголодающий крестьянин был уже «буржуем» и «эксплуататором», в традиционном деревенском укладе жизни усматривалось только косное и отсталое, упор делался на принудительный «прогресс», на репрессивные меры. В ингерманландскую крестьянскую речь тогда входили из административного языка устрашающие слова и понятия: «лишенец», «кулак», «тудармия», «сто первый километр». Некоторой передышкой для крестьян были годы нэпа, ингерманландская деревня на короткое время экономически воспряла, но это повлекло за собой тем большую трагедию, потому что в период коллективизации тысячи крестьянских семей были раскулачены и высланы в отдаленные края — в Сибирь, на Урал, в Среднюю Азию, на Кольский полуостров. Вскоре к этому добавились переселения из пограничных с Финляндией районов. Нет официальных данных, но некоторые финские авторы полагают, что депортации коснулись 50-60 тысяч человек, то есть трети ингерманландского населения; из этого количества около четверти погибло от непривычных климатических условий, болезней, голода¹². Многие ингерманландские деревни с вывезенными домами и заросшими пустырями уже в 30-е годы произвели впечатление опустошения и распада, а остальное довершили война и послевоенный паспортный режим, запрещавший жителям вернуться в родные места.

Следует сказать и о том, что в результате репрессий 1937 года ингерманландцы второй раз лишились своей интеллигенции: если после 1917 года она частично эмигрировала, то в тридцатые годы она была почти полностью уничтожена.

Сейчас, когда многое из «подноготной» преступной политики сталинизма стало известно простым смертным и когда в сознании большинства рассеялось наваждение «исторической необходимости» всех пережитых жестокостей и страданий, нельзя не прийти к выводу, что «вожди» руководствовались отнюдь не государственной логикой и элементарной этикой, а только разнузданным произволом и циничным сиюинутным прагматизмом. Как верх цинизма воспринимается едва ли не все в тогдашней национальной политике, плоды которой мы сейчас познаем. Разве это не цинизм, когда после многократных проявлений унижайшего политического недоверия к тем же несчастным ингерманландцам их вдруг стали в «зимнюю войну» 1939-40 гг. призывать в «национальную армию», дали в руки оружие, а заодно и всех ссыльных финнов перевезли из Хибин в новую Карело-Финскую республику — опять-таки не добровольно, а по принуждению, по команде, в телячьих вагонах, с комфортом зеков и «спецпереселенцев»?

Во время второй мировой войны значительная часть финнов-ингерманландцев, около 65 тысяч человек, оказалась под немецко-фашистской оккупацией и, кроме того, 8 тысяч ижор и 600 человек води (по финским данным¹³). Около 30 тысяч ингерманландцев осталось

в кольце ленинградской блокады, из них половина погибла, примерно 10 тысяч человек было эвакуировано в глубинные области страны. Что же касается населения оккупированной части территории, то немецко-фашистские оккупационные власти не проводили различия между русскими и ингерманландцами, те и другие находились в лагерях, вывозились в качестве рабочей силы в Германию, терпели лишения. К ингерманландцам проявило интерес правительство Финляндии, причем основной подоплекой этого интереса, как признают и финские авторы (например, П. Неваляйнен), была острая нужда в рабочей силе; имелись и другие мотивы, но они были побочными. Секретное зондирование возможностей вывоза ингерманландцев с оккупированной немцами территории финские власти начали еще в 1941 году, хотя огласку переговоры получили позднее. Одним из дополнительных стимулов стал разразившийся весной 1942 года страшный голод среди ингерманландцев, для преодоления которого немецкое командование не имело ни ресурсов, ни особого желания. Э. Туули приводит свидетельство командированного для выяснения положения финского военного пастора, который сообщал, что в районе Стрельны, Красного Села, Дудергофа, Тайц люди в лагерях и вне лагерей по полгода не получали хлеба, питались падалью и умирали ежедневно десятками; в одном месте километровая траншея была сплошь завалена трупами. Финское правительство добивалось разрешения от немецкого командования вывезти оставшихся в живых людей через Эстонию в Финляндию (частично были вывезены ингерманландцы и из Германии, где их было около 20 тысяч). По данным Э. Туули, всего было вывезено в Финляндию и расселено в разных ее частях 63211 человек. Это были преимущественно женщины (28400 человек, по данным П. Неваляйнена), дети (22400 человек), старики. Молодых мужчин немцы запрещали финским властям вывозить, приберегая их для себя как рабочую силу, к тому же молодых осталось немного. Те сформированные финским командованием два батальона («heimopataljoonat») из финнов-ингерманландцев, карелов, вепсов включали главным образом военнопленных. Трудоспособное гражданское население, вывезенное в Финляндию, работало в основном в сельском хозяйстве (около 70 процентов), реже в промышленности и других отраслях. Хорошо ли, плохо ли, но трудные полтора года войны — с середины 1943 года до конца 1944 года, когда началась репатриация, — были прожиты без страха умереть с голоду.

Однако людей тянуло на родную землю, абсолютное большинство пожелало после перемирия вернуться домой. Многие из них везли с собой из Финляндии скот, чтобы дома сразу же обзавестись хозяйством и жить нормальной крестьянской жизнью. Что этим людям было не по душе в Финляндии? О ряде возникших проблем

¹³ Автор упоминавшейся книги Э. Туули во время войны был в качестве офицера финской армии самолично причастен к переселению оказавшихся в оккупации ингерманландцев в Финляндию и приводит подробную статистику.

¹² Inkerin suomalaisten historia, s. 359; Tuuli E. Inkeriläisten vaellus, s. 17.

пишет П. Невалайнен, в исследовании которого хорошо показано, как относились к ингерманландцам представители разных слоев тогдашнего финского общества. Роль духовных опекунов взяли на себя церковь и правые политические движения, причем любопытна происшедшая метаморфоза: если прежде правая пропаганда делала форсированный акцент на «ингерманландской самобытности», то с прибытием мигрантов в Финляндию об этом уже не было речи, предполагалось, что они должны были как можно скорее «финнизироваться» во всех смыслах, освободиться от «чужеродных» влияний. Правые подозревали в пришельцах тайных коммунистов, тогда как некоторые финские коммунисты, напротив, усматривали в них если не коллаборационистов, то во всяком случае политически неустойчивых и незрелых людей.

Кроме того, был еще чисто бытовой уровень очень непростых отношений между мигрантами и финским населением. Из давних бесед с репатриантами (в их числе были некоторые мои родственники) я вынес впечатление, что большинство из них и в Финляндии чувствовали себя в чем-то ущербными. Если дома, в Ингерманландии, их иногда называли оскорбительно «чужаками», а еще и «белофиннами», что было уж совсем обидно, то в Финляндии они были, напротив, «рюсся»; финская хозяйка могла упрекнуть свою новую работницу в «колхозной лени». Помню, одна из моих двоюродных сестер, довольно бойкая молодая женщина, рассказывала со смехом, как хозяйка учила работниц расторопности: «Отнесешь пойло коровам, с пустыми руками в дом не возвращайся, а захвати хоть охапку дров либо ведро воды с колодца. Это вы там у себя привыкли ходить без толку туда-сюда, а мы приучены работать». Не только упрямый финский нрав, но и ингерманландский характер такое едва ли стерпит, работница по-бойчее отрезала бы «до свидания» и с тем ушла бы, благо, это не наказывалось. Словом, возникали трения, трудно было психологически «натурализоваться» и «обустроиться» в чужой стране. А главное, на чужбине человеку хочется верить в доброту родины, забыть прошлые обиды.

Всего репатриантов было (по данным Э. Туули) 55773 человека. Но домой в Ингерманландию их не пустили, получился снова жестокий обман. Уже в Выборге, как только очередной поезд с репатриантами пересекал границу, в их среду просачивались слухи, что маршрутный лист у поездной бригады совсем другой, — их снова везли в неизвестность. (В Выборге тогда находилась моя воинская часть, и я видел слезы женщин). Как потом выяснилось, их развезли по разным областям, в самые неблагополучные

колхозы. Тайными путями они перебирались потом в Эстонию, но при случае их оттуда высылали.

В общем, невезучее, рассеянное племя — и внутри страны, и за ее пределами. Конечно, таких «невезучих» народностей в наш век немало, и наихудшая беда для них наступает тогда, когда у них уже нет своей базовой этнической территории, той самой земли, на которой они могли бы существовать как этническая общность. Считается, что в настоящее время примерно по двадцать тысяч ингерманландцев и их потомков живет в Ленинградской области, в Карелии и Эстонии, десять тысяч в Финляндии, пять тысяч в Швеции. Цифры эти, разумеется, очень приблизительные, и не только из-за отсутствия достаточно дифференцированной переписи населения, но и по причине трудностей учета и самих критериев оценки ассимиляционных процессов, степени забывания родного языка, угасания национального самосознания. Но процессы эти идут повсюду, с той лишь разницей, что под Ленинградом мать-ингерманландка давно говорит с детьми по-русски, в Эстонии по-эстонски, а в Швеции по-шведски.

Было бы неискренним делать вид, что все это происходит безболезненно. В свое время талантливый поэт Тобиас Гуттари, ингерманландец по рождению, говорил своим карельским собратьям: «У вас хоть есть свой народ и своя земля, у меня — уже ничего». Кто знает, может быть, потому он и пил так иступленно и сгорел раньше срока...

Наблюдаемое в последнее время оживление интереса к национально-культурным проблемам принимает неожиданные подчас формы. Например, недавно издательство «Карелия» выпустило учебник финского языка десятилетиячным тиражом, который разошелся в считанные дни. Люди спрашивают словари и другие пособия по изучению финского языка, дефицитнейшими книгами стали буквари. Что стоит за этим прежде немислимым симптомом? Надолго ли хватит у обрусевших людей энтузиазма? И будет ли, наряду с ретроспективным интересом к национальному прошлому, постепенно складываться и некая устойчивая национально-культурная перспектива? Ответить на эти вопросы может только время.

Что же касается данной статьи, то после того как в основных чертах представлена история ингерманландцев, можно бы вернуться к проблеме региональной специфики ингерманландского фольклора, сопоставить его с карельским фольклором, генетически близким и в то же время существенно отличающимся по разработке мотивов и сюжетов. Но все это придется отложить до следующей встречи с читателем.